

УДК 821.121.1
ББК 83.3

О.А. Джумайло

**«ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОГО
ИСПОВЕДАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОГО РОМАНА**

Рассматривается место романа «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского в истории исповедально-философского романа на Западе. На основе обобщения работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных феномену исповедальности в романе, и наблюдений над развитием жанра в литературе XX в. проведен анализ наиболее дискуссионных вопросов эстетики и поэтики романа, обозначена связь с экзистенциализмом. Наибольший акцент сделан на трактовке зарубежными литераторами и критиками исповедальной незавершенности «Записок».

Ключевые слова: *исповедально-философский роман, Достоевский, рецепция «Записок из подполья», европейский экзистенциализм, незавершенность.*

Джумайло Ольга Анатольевна – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории мировой литературы факультета филологии и журналистики Южного федерального университета
Тел.: +7-918-513-01-70
E-mail: dzum2@yandex.ru

Среди многочисленных творческих и исследовательских интерпретаций «Записок из подполья» (1864) Ф.М. Достоевского отдельного внимания заслуживает вопрос об их месте в формировании и развитии жанра исповедально-философского романа как одного из магистральных векторов развития романа на Западе. Выявление этого аспекта среди прочих объясняется как удивительной продуктивностью данной жанровой модели в мировой литературе на протяжении всего XX в., так и необходимостью заострить дискуссионные позиции литературной критики в отношении эстетики и поэтики «Записок» как маркеров истории развития жанра.

Объем исследовательских материалов, посвященных роману, грандиозен: согласно библиографическим базам Международного общества Достоевского (IDS), каждые пять лет выходит около семи-десяти работ, связанных с проблематикой романа [Романов, с.110].

Среди них немало, на первый взгляд, неожиданных примеров компаративного анализа. Так, в статье Л. Ферст «Dostoyevsky's *Notes's from Underground* and Salinger's *The Catcher in the Rye*», вопреки предостережениям о нелепости представлений Сэлинджера «Достоевским из детской» [Grunwald, p. xii], найдены сближения между романами писателей. Они приводят исследователя к мысли о том, что «...Холден Колфилд предстает не простым американским подростком, а ярким примером антигероя, образ которого вновь и вновь возникает по обе стороны Атлантики, с тех пор как Достоев-

ский создал его портрет. Являясь классическим текстом о современном сознании «Над пропастью во ржи» должен быть прочитан как роман, стоящий в одном ряду с «Записками из подполья», «Тошнотой» Сартра, «Посторонним» Камю, «Самопознанием Дзено» Звево» [Furst, p.85].

Следует признать, что история мировой литературы дает бесчисленное количество подобных примеров «восхождения» к «Запискам». Вместе с тем, сама оптика видения этого текста как своего рода жанровой модели исповедально-философского повествования отечественными и западными литераторами и исследователями заметно различается. Совершенно очевидно, что значима не хронологическая и контекстуальная «удаленность» того или иного романа от «Записок». Достаточно вспомнить работы А. Жолковского, Р. Джексона, Н. Живолуповой, Р. Семькиной и многих других, чтобы признать: на настоящий момент феномен интертекстуального следа «Записок» в русской, советской и западной литературах изучен достаточно хорошо.

Укажем на иное: анализ исповедально-философского жанрового элемента в «Записках из подполья» ведет к проблематизации взаимосвязанных, но в дальнейшей истории мировой литературы в разной степени акцентированных вопросов жанра. Среди них: притяжение и отталкивание от исповеди религиозной и исповеди светской (Руссо); характер психологического и философского (экзистенциального) вопрошания; специфика поэтических средств (двойничество персонажей, лейтмотивный повтор, маркеры саморефлексии и пр.); нарративная организация текста и проблема его завершенности.

Один из ярких примеров – выявление Н. Живолуповой исповеди антигероя как субжанра, ведущего свое начало от «Записок». Наблюдаемая в исповеди антигероя амбивалентность чаемой и недостижимой этической перспективы все же позволяет исследователю «говорить о потребности духовной самореализации субъекта исповеди антигероя в... устремленности к истине, пусть даже ложно понятой, но *«собирающей» личность антигероя, формирующей его духовную и характерную определенность»* [Живолупова, с. 278]. Вместе с тем именно особое место «Записок» в творчестве писателя, непроговоренность в тексте характерной для последующих романов «идеи Христа», принципиальная недостижимость завершения героя – важнейший отправной пункт литературных и интеллектуальных рефлексий на Западе.

Ряды восходящих к герою Достоевского персонажей во многом не случайно формируются вокруг близких, но не синонимичных определений его сущности – «подпольный человек», «парадоксалист», «антигерой». Отсюда, как генетически связанные с «Записками» мыслятся не только герои Жида, Гессе, Сартра и Камю, но и персонажи Набокова, Беллоу, Кутзее, Керуака и многих других. В связи с этим отметим любопытный факт: глава о «Записках» Достоевского в статьях и монографиях ученых открывает каждый раз новый ряд больших и малых имен.

К примеру, исследователь европейского канона репрезентации героя В. Бромберт в предисловии к своей работе «Слава антигероям: пер-

сонажи и темы современной европейской литературы, 1830 – 1980» пишет о том, что источником его обращения к исследованию генеалогии образа антигероя стал образ парадоксалиста, созданный Достоевским в «Записках из подполья». Примечательно, что в образах антигероя произведений Звево, Фриша, Камю и Леви Бромберт указывает на «комплекс Достоевского» – манипуляцию «внутренней двойственностью исповедального повествования» (*duplicitous resources of confessional mode*), раскрывающего героя в парадоксальной несовместимости его внутренних побуждений [Brombert, p. 34].

Выявленная доминанта – одна из ключевых в трактовке «современного сознания» западными учеными, как правило, делающих акцент на принципиальной философской и психологической незавершенности героя, сомнения в истине, данной в исповедальном слове. Она же объясняет особое место данного текста Достоевского среди других не менее знаменитых романов писателя в западной традиции исповедально-философского романа. Именно в «Записках из подполья» перволичное повествование героя дано как принципиально незавершенное. Это исповедальный роман в его инвариантной форме, без устремленности к религиозной исповеди-покаянию, лишенный как пафоса проповеди и притчи, так и акцента на нарциссистической исключительности светской исповеди Руссо.

Являются ли «Записки» первым текстом такого жанрового рисунка? Отнюдь. Уже в творчестве романтиков – Шатобриана, Мюссе, Констан, де Квинси – находим образец исповедального романа. Яркие черты незавершенной формы исповедального романного самосознания можно обнаружить и ранее – в «Тристраме Шенди» Стерна и «Прогулках одинокого мечтателя» Руссо. Однако именно искусство Достоевского оказало влияние на несколько поколений крупнейших писателей XX в. Романы Жида, Музиля, Гессе, Звево дали модернистские образцы исповедально-философского романа, но представление о «Записках» как о модели жанра сложилось гораздо позже. Почему же именно во второй половине XX в. произошло выстраивание жанровой традиции с ключевым узлом – «Записками из подполья»?

Как представляется, кристаллизация и популяризация идей экзистенциализма стали мощным стимулом к переосмыслению истории исповедально-философского романа, поискам протоэкзистенциальных идей в текстах, далеко отстоящих от эпохи Сартра и Камю. Самая известная комментированная антология, которую читал любой западный студент-гуманитарий 1960-х, – «Экзистенциализм: от Достоевского до Сартра» под редакцией У. Кауфмана. Кажется невероятным, что первая глава антологии посвящена не Кьеркегору, а парадоксалисту Достоевского, художественному персонажу, сошедшему со страниц «Записок» в 1864 г., девять лет спустя после смерти великого датского философа. Кауфман особо привлекает внимание к этому факту: «Я не вижу никаких причин, чтобы называть Достоевского экзистенциалистом, но думаю, что первая часть «Записок из подполья» – это лучшая увертюра к эк-

зистенциализму, которая когда-либо могла быть написана» [Kaufmann, p. 14].

Так, Дж. Франк, автор «Dostoevsky: The Mantel of the Prophet. 1871 – 1881», одного из лучших биографических исследований Достоевского за рубежом, вспоминал, что еще в середине 1950-х, будучи приглашенным в Принстонский университет для чтения серии лекций «Экзистенциальные темы в современной литературе», начал разговор с «Записок из подполья» Достоевского в свете протоэкзистенциальных идей Л. Шестова и Н. Бердяева. Но «даже существенно развив эту идею... [он] все более понимал, как далека она от адекватного прочтения повести. Несомненно, экзистенциальное начало присутствовало в тексте; но как много в нем было того, что не поддавалось экзистенциальным ключам» (Цит. по: [Peaver, p. 496]).

Как известно, Достоевский оказал огромное влияние на становление как философской, так и художественной концепции Камю. Именно «Записки из подполья» стали моделью исповедальной повести Камю «Падение», в которой точно прослеживается тематическая и поэтическая преемственность. Е. Траган в своем исследовании отмечает, что монолог героя «Падения» гораздо ближе монологу парадоксалиста, нежели речи других героев Камю – оголенного до хемингуэевской простоты монолога Мерсо из «Постороннего» или уравновешенного, почти безразличного, тона рассказчика «Чумы» [Trahan, p. 337 – 350].

И уже неудивительно, что появившиеся в этот же период исследования «Записок» предлагают экзистенциальные трактовки образа героя с акцентом на утверждении парадоксалистом своей призрачной идентичности через свободу воли (extreme self-willing) [Hoffman, p. 6] и бунт против всего, что унижает его «я» [Jackson, p. 48].

Выход в свет единственной на настоящий момент монографии, посвященной исповедальному роману XX в., в самый разгар увлечения экзистенциальными идеями, симптоматично. Глава 1 исследования П. Аксельма «The Modern Confessional Novel», вышедшей в Йельском университете в 1967 г., трактует романы Достоевского, и, в особенности, повесть «Записки из подполья» как «источник современного исповедального романа» [Axhelm, p. 13 – 53]. Исследование Аксельма, показывающего Достоевского как предтечу исповедального романа Жида, Сартра, Камю, Кестлера, Голдинга и Беллоу, написано под влиянием концепции экзистенциализма. Более того, Аксельм акцентирует экзистенциальный регистр уже в «Исповеди» Августина, но всякий раз подчеркивает: Августин ищет истину о себе посредством самоанализа, который дарует ему божественное откровение; герой Достоевского пребывает в бесконечном мраке и мороке саморефлексии. Вместе с тем, следует отметить внимание исследователя к особенностям поэтики романа, отличающего его от философского трактата или развернутой художественной рефлексии на экзистенциальную тему. Этот нюанс значим, так как в уже упомянутой нами антологии Кауфмана дается только первая часть «Записок», своего рода манифест парадоксалиста-экзистенциалиста.

Аксельм соотносит первую часть «Записок» с техникой экспозиции, характерной для жанра исповеди. Именно «Повесть о мокром снеге», включенная в «Записки», дает образец «первого исповедального романа» [Axhelm, p. 14]. Она показывает то, как болезненные философские и психологические рефлексии вступают в конфликт с реальными событиями жизни парадоксалиста, имеющими судьбоносный характер.

Интерпретация поэтики заглавия включенной исповеди связана с метафорой «мокрого снега»: соприкосновение с ним – это своего рода «реальные ощущения», которые приходят на смену абстрактным идеям первой части и показывают открытие героем реальности Других (Зверкова и Лизы). Среди частотных мотивов исповедального романа как особой жанровой формы, о которых пронизательно говорит Аксельм: болезненная саморефлексия; стремление определить себя, познать свою сущность посредством контактов с другими (столкновение с офицером, столкновение со Зверковым); появление персонажа-двойника (Лиза); использование многочисленных лейтмотивных повторов; тематическая фокусировка на страдании и отчуждении; осознание героем своей исключительности; внимание к описанию поворотного события в жизни (эпизод с Лизой).

И все же Аксельм находит возможность утвердить, в сущности, экзистенциальный смысл повести: свобода, и даже бунт, подпольного существования оказываются для героя гораздо более привлекательными, нежели соответствие общей мерке. Как известно, важнейшим мотивом экзистенциального романа XX в. становится невозможность для героя преодолеть тотальное отчуждение, но сама исповедальность – *способность рассказать о своих страданиях и утвердить через рассказ себя* – единственное, что остается герою Достоевского, Сартра и Камю.

1950 – 1970-е годы отмечены огромным интересом именно к этому роману Достоевского. Влияние «Записок» Достоевского на специфику исповедального (преимущественного тематического и композиционного) построения романов таких известных писателей, как Райт, Эллисон, Болдуин, подчеркивает М. Блоштайн [Bloshteyne, 1, p. 277 – 309]. Серьезного внимания заслуживает и работа исследовательницы, посвященная формирующему значению творчества Достоевского в поэтике писателей-битников. В особенности интересно то, что «важнейшее основание для творчества Керуака, Гинзберга, Берроуза и других битников – исповедальное письмо – вновь связано со знакомством с произведениями Достоевского. Исповедальность была требованием, которое Керуак, Гинзберг и Берроуз (также как и многие другие ранние битники) выдвигали в отношении к собственным текстам... Несмотря на то что идея исповеди так же стара, как трактат Августина, ранние битники прослеживали ее непосредственно от Достоевского. Именно поэтому Керуак однажды объявил своему другу, что пишет “полную исповедь” (FULL confession)... в традициях “Записок из подполья” Достоевского. В интервью 1968 г., формулируя свое видение художественного творчества, Керуак вспомнил предсказание Гете о том, что литература буду-

шего будет исповедальной, добавив, что Достоевский также предвидел это...» [Bloshteyne, 2, p. 233]. Как известно, Керуак пишет свой роман «Подземные» в исповедальной традиции «Записок из подполья», подчеркивая характерное (представляющееся ему спонтанным) сочетание в высшей степени сознательных и бессознательных (both the conscious top and the unconscious bottom of the mind) психологических мотивов, нашедших свое выражение в письме. По воспоминаниям Гинзберга, Берроуз также проявлял особый интерес к исповедальному сознанию подпольного героя Достоевского ([Dostoevsky's] nutty-man-confessional) [Bloshteyne, 2, p.220].

Акцент на манифестации «полной исповеди», столь привлекательной для писателей-битников, оказывается одним из самых значимых в истории прочтений «Записок» с момента опубликования романа. Известная полемика с Руссо, предпринятая парадоксалистом, стала поводом для многочисленных интерпретаций отношения Достоевского к исповедальному заданию как таковому. Значителен вклад отечественных ученых в разработку данной темы.

Американский исследователь Б. Ховард обращается к феномену риторики исповеди в «Записках», которая принимает форму пародии над исповедью руссоистского типа. «Несмотря на высказанное мнение о том, что форма исповеди меняет ее содержание, он (парадоксалист) защищает свое решение использовать эту форму лишь для того, чтобы отрицать ее содержательную суть» [Howard, p. 17], и таким образом достичь независимости от унифицированной и неправдивой публичной исповеди.

Эта «независимость» достигается пародийным преувеличением приемов исповеди Руссо. Прежде всего, это быстрая смена различных масок откровенности (крайняя форма «обнажения приема» Руссо, использующего технику «диалога с самим собой»), что и создает известный эффект парадоксальности и ставит под сомнение правду откровенной исповеди Руссо. Пародийно обыгрываются зачин исповеди («не побояться всей правды»); повод для исповеди, избранный травматический эпизод (сюжет Марион / сюжет Лизы); многочисленные самооправдания и размышления о возможной реакции на исповедь потенциального слушателя и представителей общественного мнения; декларация равнодушия к общественному мнению; праздность; неспособность до конца соответствовать избранному образу («романтического мечтателя», «сентиментального мизантропа»); доведенная до крайности сентиментальная чувствительность; выявленная двойственность разума и чувств в случае несправедливого обращения с Марион / Лизой; поиск причин изменчивости собственного характера, проявляющейся в конфликте «сознания» и «делания»; убеждение в том, самосознание неизбежно влечет за собой искажение («болезнь»).

Весьма существенны расхождения, не позволяющие увидеть в концепции подполья руссоистскую модель. Это, прежде всего, представление о необходимости отдаления от цивилизации для естественного

человека Руссо и переживаемое как крайне болезненное отчуждение от общества (положение «мыши») подпольным героем Достоевского. Но самым значимым оказывается глубокое сомнение парадоксалиста в том, что путем размышлений *возможно собрать воедино всю цепочку чувств и мотивов*, составляющих единство его личности («первоначальную причину»). Здесь главное – уже не риторическое, а концептуальное расхождение между Достоевским и Руссо (Исследователь, однако, подчеркивает, что в написанных спустя несколько лет после завершения «Исповеди» «Прогулках одинокого мечтателя» Руссо уже говорит о «растущих сомнениях» по поводу истинных мотивов своих прошлых поступков [Howard, p. 28]). Речь о завершенности, одной из ключевых проблем исповедального романа.

Примечательно выявление Аксельмом композиции исповеди подпольного человека, в которой заметны многочисленные повторы (the repetitive nature of the confession) [Axhelm, p. 22]. И далее: «В событиях, которые он помнит, подпольный человек не находит ничего, кроме стыда и парадокса» [Ibid., p. 23]. Не будучи знакомым с хрестоматийным ныне прочтением «Записок» Бахтиным [Бахтин, с. 454], Аксельм пишет: «Как и все прочее в исповеди Подпольного человека, окончательное и завершенное видение остается двусмысленным, затемненным, сомнительным» [Axhelm, p. 24].

Игра с завершенностью / незавершенностью исповеди рассказчика – одна из характерных особенностей исследуемого нами жанра романа. Однако вопрос об открытом финале исповедально-философского романа и интерпретации «Записок» западными учеными оказывается тесно связанным с вопросами об искренности, истине, Боге. Вспомним наблюдение А. Криницына со ссылкой на свою позицию и позицию Л.В. Сыроватко: «...В противовес западным исследователям, жанрообразующим свойством выдвигается полная искренность исповедующегося, тогда как западные ученые согласны признать за исповедь и мнимую откровенность...» [Криницын, с. 105]. Притом, что исследовательская концепция Криницына в монографии «Исповедь подпольного человека» отличается тонкой нюансировкой в определении аксиологии исповедального, очевидна полемика с «прозападным» взглядом А. Хансен-Леве [Криницын, с. 151]. На этот вопрос обращают внимание О. Ковалев, Л. Ельницкая и другие.

Подобным образом глубокие работы Г. Ибатуллиной, посвященные исповедальности экзистенциального толка, написаны с установкой на апологию классической исповеди: «Экзистенциальное высказывание существует на опасной границе между неосознанным желанием *дорости до исповеди и угрозой полностью переродиться* в чистый выхолощенный “дискурс”, забывший о родном потоке живой речи. Оно пытается играть в живую речь, но эта игра не удастся – не потому, что перед нами художественный текст, а не живая речевая ситуация, но прежде всего потому, что играет здесь само сознание, а не только слово» [Ибатуллина, с. 71].

Данная тенденция не случайна: и психологическая, и философская незавершенность исповедального высказывания на протяжении последних трехсот лет становится все более значимой темой западной литературы – достаточно вспомнить тексты Серна, Руссо, де Квинси, Беккета. Любопытно то, как роман Достоевского буквально «вписывается» в западную традицию, более того, опознается как важнейшая веха в ней.

Так, в центре внимания известной работы Дж. Кутзее «Confession and Double Thoughts: Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky» (1985) проблема незавершенности в «Записках» как саморефлексивном исповедальном романе Достоевского [Coetzee, p. 216]. По мнению Кутзее, композиция произведения имеет свою концепцию. Первая часть «Записок» выступает как откровение философского свойства о проблеме саморепрезентации и ее неизбежной лживости; вторая становится откровением о стыдной ситуации из прошлого (случай с Лизой). Кутзее видит в этом членении своего рода испытание идеи правдивости исповеди (the project of not lying). Подробное изложение двух встреч с Лизой рассказчиком спустя пятнадцать лет после того, как события произошли, сопровождается указанием на быструю смену противоречивых оценок собственных чувств и рядом ситуаций, в которых невербализованное до конца «не-что, выходит из глубин сознания рассказчика» (something comes up of the narrator's depth). Все это, считает критик, свидетельствует о том, что парадоксалист не понимает собственных мотивов даже по прошествии времени. Это непонимание ставит под сомнение претензию на полную откровенность, правдивость и эффективность исповеди, даже если перед нами «гиперсаморефлексия», от которой не скроется ни единый мотив [Ibid., p. 220].

Наррация сопровождается постоянным стремлением парадоксалиста снять с себя очередную маску (motive for unmasking itself). Кутзее делает важное замечание о том, что подлинные мотивы исповедального персонажа, как правило, лежат за пределами его развернутых рефлексий, они проявляют себя в скрытых знаках (появляющихся в моменты крайнего эмоционального напряжения; данных в мимолетных указаниях на сердечную боль; указаниях на то, что ранее не признавалось; во время «вторжений» в повествование скрытых голосов «я» и пр.).

Как неразрешимые трактуются Кутзее вопросы о том, насколько намеренной была игра с унижением Лизы и была ли игрой вообще? Почему некоторые движения души парадоксалиста так и не находят вербального выражения? Остается полностью «за кадром» (в силу того, что перед нами перволичное повествование) полноценное изображение психологических реакций Лизы, которые даны в крайне редуцированном виде или же являются плодом воображения повествователя.

Так, «настоящая ирония в том, что он [парадоксалист] обещает нам исповедь, превосходящую искренностью исповедь Руссо, ибо верит, что гиперрефлексия поможет ему достичь этой цели. Однако его исповедь открывает лишь беспомощность исповедального посыла перед желанием «я» сконструировать собственную правду» [Ibid.]. Главный вопрос,

который, однако, не задает себе подпольный человек, это вопрос о том, зачем он хочет знать всю истину о себе? Не истина интересует его, а желаемый образ истины, который парадоксалист так и не может найти.

По мысли Кутзее, Достоевский делает героем-рассказчиком исповедующегося персонажа и таким образом ставит под сомнение саму возможность светской исповеди, которая сосредоточена на том, чтобы открыть истину не другому, не Богу, а себе самому. Психология самопознания не позволяет ему достичь истины без самообмана. Примечательно, что отечественные исследователи указывают на обратное: в содержательном диссертационном исследовании Н. Честновой читаем: «Выявление позиции «третьего» участника исповеди позволяет нам увидеть записки парадоксалиста как единое целое – как процесс становления исповедального сознания подпольного человека: от утверждения чужой ложной нравственной реакции – к приятию подлинной нравственной реакции другого, от яростной полемики о природе человека и оправдания подполья – к вопросам о природе человека и порыву из подполья» [Честнова, с. 15].

Что есть «третий»? Бог ли, нравственный закон ли – их отсутствие в «Записках» – знак «кризиса веры», общей культурной ситуации XX века на Западе. Так, в своей работе «Яд в ухо. Исповедь и признание в русской литературе» немецкий славист С. Зассе в соответствии с концепцией рессентимента «Генеалогии морали» Ницше видит героя «Записок», формирующим «свою субъективность лишь как реакцию на другого», вынужденным «сочинить такую исповедь, которая противоречила бы всем уставам исповедования» [Зассе, с. 103]. Парадоксалист говорит в пустоту и вынужден опровергать им самим выдуманные возражения. «Читатель тоже оказывается в положении объекта мщения <...> Он исповедуется, бранит и унижает читателя, чтобы дисквалифицировать его в качестве слушающего. Именно свою искренность парадоксалист ставит в упрек читателю» [Там же, с. 108]. Подпольный человек «пытается превратить другого в того, от которого страдает он сам; в того, кто всегда только реагирует» [Там же, с. 109]. Однако для европейской традиции интересной оказалась и другая сторона той же медали – сама эта интенция говорит об оскорбительности для парадоксалиста мысли о возможной завершенности его образа в глазах другого. Он «не мышь», «не подпольный человек», «не материалист», «не скверный», «не злой»...

Не философско-этические и ценностные установки, а философско-психологические аспекты выдвигаются в центр размышлений западных исследователей и литераторов и связываются ими с вопросами эпистемологии. Примечательны финальные строки статьи Ж.-Ф. Леруа, посвященной художественным и философским сближениям Достоевского и С. Беллоу [Leroux, p. 1 – 15], которые отражают общую тенденцию в рецепции Достоевского на Западе: «Из ситуации “бесконечного диалога” разума с самим собой Достоевский ищет выход в религиозном аскетизме, а Беллоу – в самопознании и молчании... Скептицизм Запада

отвечает мистицизму Востока, в своей глубине сомнение оказывается равным вере...» [Там же, с. 11].

Эта же идея сомнения, по-видимому, делает «Записки» текстом, иллюстрирующим феномен «ненадежного рассказчика». Примечательно, что за «Записками» как моделью ненадежности последуют и «Признания Феликса Круля» Манна и «Лолита» Набокова – тексты очевидно «исповедальные» и игровые, но изрядно отстоящие от Достоевского [Olson, p. 94 – 95].

В этом отношении заметим еще одно отличие: там, где Бахтин находит «исповедальное слово с лазейкой» подпольного героя Достоевского как реакцию на чужое слово, там западные исследователи погружаются в проблему бесконечного поиска языка саморефлексии как языка имманентного «я».

К примеру, с точки зрения Г. Хэгберга, язык исповеди подпольного героя Достоевского иллюстрирует основные идеи философии языка Л. Витгенштейна. Подробный разбор пассажей «Записок», демонстрирующих нюансы саморефлексии, по мнению философа, указывают на сомнение Достоевского в возможностях языка исповедального самопознания. Среди прочих примеров, известный случай дифференциации стонов повествователем в зависимости от их оценки потенциальными слушателями и формами их репрезентации в речи, одновременно персонализированной и отсылающей к общим значениям. Цитируя Витгенштейна («вы узнаете понятие “боли”, когда узнаете язык»), исследователь подчеркивает неразрешимость исповедальной задачи парадоксалиста, ищущего особый язык чистой саморефлексии. Временная дистанция, с которой повествователь создает свое автобиографическое исповедальное повествование, каждый раз по-разному представляет перед ним проблему невозможной репрезентации целостного сознания (non-unified consciousness) и принципиальной непрозрачности «я» для самоанализа (a description of a condition of inward non-transparency) [Hagberg, p. 381]. Заставляет ли все это вспомнить монолог парадоксалиста Достоевского? Лишь отчасти. Гораздо более точно размышления Хэгберга характеризуют речь безымянного из одноименного романа Беккета.

Проведенный анализ позволил поставить вопрос о месте романа Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» в традиции исповедально-философского романа на Западе и обозначить проблему исповедальной незавершенности как важнейшую жанровую черту романа. Исповедальная незавершенность, рассматриваемая зарубежными литераторами и критиками с точки зрения философско-психологической, сближает роман Достоевского с ранними образцами исповедального жанра в европейской литературе (Руссо, Шатобриан, Мюссе, Констан, де Квинси и др.). Роман Достоевского становится вехой, определившей направление жанрового развития исповедального начала в модернистском романе (Жид, Звево, Музиль, Гессе и др.) и романе экзистенциальном (Сартр, Камю, Беккет, Костнер, Голдинг, Фаулз и др.).

Литература

- Бахтин М.* Проблемы творчества Достоевского: 5-е изд., доп. Киев, 1994.
- Ельницкая Л.П.* Исповедь антигероя: «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского и «Распад атома» Г. Иванова // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 18. СПб., 2007.
- Живолупова Н.В.* «Христос и истина» в исповеди антигероя (Достоевский, Чехов, Набоков, Вен. Ерофеев) // Вестн. Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 5. С. 278 – 285.
- Засе С.* Яд в ухо. Исповедь и признание в русской литературе. М., 2012.
- Ибатуллина Г.М.* Исповедальное слово и «поток сознания»: Экзистенциальный текст как неосуществленная исповедь в «Постороннем» А. Камю // Вестн. Томского ун-та. 2012. № 2. С. 57 – 75.
- Ковалев О.А.* Творчество как исповедь: ситуация исповеди в произведениях Ф.М. Достоевского // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2011. № 2. Т. 2. С. 148 – 151.
- Криницын А.Б.* Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоевского. М., 2001.
- Романов Ю.А.* «Записки из подполья»: история и современность (К 140-летию юбилею выхода в свет) // Межвуз. науч. сб. «Вопросы русской литературы». Симферополь, 2004. Вып. 10(67). С. 110–121.
- Честнова Н.Ю.* Исповедальность как принцип становления поэтики художественной прозы Ф.М. Достоевского (на материале повести «Записки из подполья» и романа «Подросток»): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2012.
- Axthelm P.* The Modern Confessional Novel. New Haven, 1967.
- Bloshteyne M.* (1) Rage and Revolt: Dostoevsky and Three African-American Writers // Comparative Literature Studies. 2001. Vol. 38, № 4. P. 277 – 309.
- Bloshteyne M.* (2) Dostoevsky and the Beat Generation // Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée CRCL/RCLC June – September, 2001. P. 233.
- Brombert V.* In Praise of Antiheroes: Figures and Themes in Modern European Literature, 1830 – 1980. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- Coetzee J.* Confession and Double Thoughts: Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky // Comparative Literature. 1985. Vol. 37, № 3. P. 193 – 222.
- Fortin R.* Responsive Form: Dostoevsky's Notes from Underground and the Confessional Tradition // Essays in Literature. 1980. Vol.7. P. 225 – 245.
- Furst L.R.* Dostoevsky's Notes from Underground and Salinger's The Catcher in the Rye // Canadian Review of Comparative Literature. Winter, 1978. P. 72 – 85.
- Gossman L.* The Innocent Art of Confession and Reverie // Daedalus. Summer 1978. Vol. 103, № 3. P. 59 – 77.
- Hagberg G.* Wittgenstein Underground // Philosophy and Literature. 2004. Vol. 28, № 2. P. 379 – 392.
- Hoffman F.* Samuel Beckett: The Language of Self. New York, Dutton, 1964.
- Howard B.* The Rhetoric of Confession: Dostoevskij's Notes from Underground and Rousseau's Confessions // The Slavic and East European Journal. 1981. Vol. 25, № 4. P. 16 – 32.
- Jackson R.* Dostoevsky's Underground Man in Russian Literature. The Hage, Mouton and Co., 1958.

Kaufmann W. Existentialism from Dostoevsky to Sartre. New York, 1956.

Leroux J.F. Exhausting Ennui: Bellow, Dostoevsky, and the Literature of Boredom // College Literature. Winter 2008. Vol. 5, № 1. P. 1 – 15.

Olson G. Reconsidering unreliability: fallible and untrustworthy narrators // Narrative. 2003. Vol. 11, № 1. P. 93 – 109.

Pevear R. To Find a Man in Dostoevsky // The Hudson Review. 2002. Vol. 55, № 3. P.495 – 503.

Trahan E. Clamence vs. Dostoevsky: An Approach to La Chute // Comparative Literature. 1966. Vol. 18, № 4. P. 337 – 350.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
